



# *ВЛАСТЬ ИМЕНИ, или КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МОЕГО ЗЛОДЕЙСТВА*

*(рассказ)*

/

Нет, мы не властны над своими мыслями...

В том-то вся и штука, что не мы, а они владеют нами, крутят и вертят, как им заблагорассудится. Лупцуют, раскатывают, словно тесто, и размазывают по столу, чтобы затем слепить из нас кого угодно — хоть черта с рожками, хоть пугало огородное. Проснешься ли ночью, разбуженный внезапной мыслью, задумаешься ли о чем-то среди бела дня, и пиши пропало: заморочат, околдуют, закружат, ведь они неумолимы и беспощадны, как наши самые заклятые враги.

Хотя, казалось бы, что такое мысль — некая призрачность, эфемерность, зыбкий мираж. Ан нет, они нас берут железной хваткой, исторгая даже не стоны и вопли, а лишь жалкий сдавленный мышинный писк. Мы перед ними бессильны и, сжимая ладонями виски, лишь бессмысленно твердим, взываем о помощи, без конца повторяем: «Боже, куда мне деваться от этих ужасных мыслей?»

При этом они подчас выдают в нас, предательски высвечивают то, чего мы в себе никак не подозревали и что совершенно не соответствует нашему складу, свойствам натуры, привычкам и пр. Допустим, мы по складу чисты, невинны и непорочны. Мысли же у нас настолько иные, настолько нам не соответствуют и противоречат, что нам становится не по себе и от стыда мы готовы провалиться сквозь землю, словно нас публично раздели догола, уличили в чем-то мерзком, предосудительном и запретном. Да и склада-то, привычек, свойств натуры, может быть, еще никакого нет — так, некая размытость, неоформленность, милое ребячество, а уж непрошенные мысли тут как тут. Вот они — насаждают, кружатся, выются осиным роем — только успевай с ними разбираться.

Скажем, молодая, цветущая красотой и здоровьем, восторженная мать упоенно ласкает и целует своего пятилетнего малыша, подбрасывает его на руках, тормошит, прижимает к груди. А он, тоже счастливый и радостный, хотя и с несколько принужденной, натянутой улыбкой (улыбочкой), словно взирающий на все со стороны, возьми и подумай о том, как мать его будет... лежать в гробу, желтая, словно восковая, с подвязанной челюстью, посиневшими губами, усыпанная гвоздиками, тронутыми черной траурной каймой по краю лепестков. Причем это не месть за недавнее наказание, за то, что лишили сладкого или не пустили гулять, а именно мысль, возникающая словно помимо воли, всплывшая из глубинных, потаенных недр сознания, как воздушный пузырь всплывает со дна речного омута и, достигнув поверхности, лопается, дробится на множество мелких пузырьков.

Подобные мысли бывают и у людей зрелого возраста, и у стариков, — пожалуйста, сколько угодно! Некий почтенный господин, бреясь у зеркала, еще не одетый, с обнаженным торсом, полотенцем на шее этак представит вдруг, что он — кентавр. И даже в отражении увидит вместо себя красавца кентавра с лошадиным хвостом и копытами. И это не признак сумасшествия или белой

горячки, а просто случайно мелькнувшая мысль. Другой так же мысленно взорвет бомбу перед парадными дверями своего департамента (простите, офиса) — взорвет, наслаждаясь тем, как все забегают, засуетятся, истошно завопят с искаженными от страха лицами.

Или еще что-нибудь взбредет ему в голову — бог не приведи...

А любящая отца дочь, разглядывая его в свернутую из тетради трубочку, вдруг представит — так ясно вообразит, что он и не отец ей вовсе, а обманщик и самозванец. Ее же настоящий отец совсем другой. Скажем, мамин поклонник, учитель музыки, заставляющий играть противные гаммы, или даже врач-гинеколог, у которого столь милое, доброе, подобострастно-скромное лицо и такие волшебные руки, что ей никогда не бывает больно...

Словом, всплывают, всплывают со дна и лопаются пузыри — независимо от возраста, положения и прочих обстоятельств.

Вот и я здесь, признаться, не исключение.

Знаете, какая до ужаса забавная мысль посетила меня однажды, когда я по настойчивым уговорам жены спиливал обледенелый сук, угрожающе нависавший у нас над крыльцом?

Неделю таяло, моросило, клубилась в воздухе мелкая, почти неразличимая игольчатая изморось и разливалась та удушливая истома, которая бывает, когда небо сплошь обложено рыхлыми пасмурными облаками и воздух кажется застоявшимся, спертым, словно в закупоренной банке. А тут к пятнице вдруг ударил морозец, и все, что текло, плыло, сочилось, мерцало, зыбилось, схватило ледком. Все мгновенно, будто по волшебству, побелело и застыло в картинном оцепенении. Городок наш разом преобразился: словно одетые хрусталем деревья заиграли нездешним блеском, крыши зарозовели под солнцем, покрытые наледью дороги засверкали, словно катки. Из сараев в дом понесли дрова, и над трубами потянулись дымки...

Я стоял на приставной лестнице, которую жена поддерживала и даже подпирала ногой снизу, чтобы та не заскользила, не зашаталась и не рухнула вместе со мной. Натянув брезентовые рукавицы, я сделал несколько пробных надпилов и, когда хорошо заточенная, разведенная ножовка (инструменты у меня всегда в полном порядке) послушно пошла, не спотыкаясь, не застревая и не выскакивая из проложенной колеи, с усердием подналег на нее, аж под шапкой взмокло. Крошилась под острыми зубьями намерзшая ледяная корка, сыпались свежие горчично-желтоватые, с лимонным отливом, опилки, чуть припахивало потревоженным и ожившим от зимней спячки древесным соком.

И тогда-то меня посетила веселенькая мысль: «А хорошо бы этот сук обломился и придавил кого-нибудь. Вот была бы потеха...»

Впрочем, такие мысли не посещают, а бочком протискиваются, прокрадываются с черного хода — шмыг, и они уже здесь, хотя их словно бы и нет нигде. Не поймаешь, фонариком не осветить, не накрыть ладонью, словно разомлевшую на солнцепеке от сладкого цветочного дурмана бабочку: померещилось, показалось.

Вот так же и я, привыкший считать себя добрым, кротким, мягким, уступчивым, любящим жену и детей, вдруг обнаружил, что мысли у меня, оказывается, самые злодейские. Да и не только мысли, а и сам я — настоящий, законченный злодей и преступник, причем, заметьте, не в первом поколении...

## //

Эту историю я, пожалуй, начну с того, что представлюсь. Она этого требует: собственно, в имени моем и заключена ее завязка. Вернее, даже не в имени,

а в фамилии. Зовут-то меня просто, даже как-то уж слишком обычно, повседневно — Иван Петрович, хотя для рассказчика историй (или повестей) это имя весьма подходит.

Но вот фамилия у меня французская.

Да уж такой казус, такой курьез: досталась она мне, самая что ни на есть французская, хотя и русскими буквами писанная. К ней бы в придачу и родословную с гербами, но, увы, родословной своей я похвастаться не могу, поскольку ее толком не знаю. А без толку кичиться своими предками мне, признаться, не по вкусу. Отец лишь рассказывал мне то, что и сам слышал вполуха (за родословную можно было когда-то и срок схлопотать): якобы один из моих предков, наполеоновский гренадер, буян и гуляка, причастен к пожару Москвы. А другой — взрывотехник из тогдашних спецов, исполнительный и аккуратный, — к разрушению Храма Христа Спасителя (долотом и молоточком выдалбливал гнезда для закладки динамита).

Но за эти сведения я не поручусь — вот и не буду даже называть моей фамилии.

Не буду еще и потому, что иной, может быть, и гордился, похвалялся бы такой фамилией, выставлял ее всячески напоказ, но так уж повелось, что мне она доставляла только одни неприятности. Поэтому какая уж там особая гордость, — скорее, я ее всегда даже стыдился и лишний раз старался не произносить.

Чуть что — молчок.

В детстве меня из-за моей фамилии дразнили, перевирали ее на разные лады и беспощадно коверкали. Из-за этого я, обиженный, с размазанными по щекам слезами, прибежал домой, бросался плашмя на кровать, накрывался подушкой, и плечи у меня вздрагивали от судорожной икоты, поскольку плакать я больше уже не мог. Сквозь звон в ушах мне слышались крики, визги, улюлюканье, чертики плясали перед глазами, все вертелось и кружилось, и я сам казался себе одним из

тех, кто с высунутыми языками и обезьяньими ужимками глумились над моей фамилией.

Случалось мне и подражаться, защищая от насмешек мою многострадальную фамилию, поскольку на ней вымещались все беды и несчастья нашей улицы. Вымещались, словно она была виновата в том, что кто-то проколол шину велосипеда, разодрал штаны о торчащий в заборе гвоздь, порезал палец стеклом или получил синяк под глазом.

Если у нас неподалеку случался пожар, паводок или ураганым ветром валило деревья, срывало с крыш кровельное железо, я уже с уверенностью мог ждать, что на следующее утро последует расплата. Меня окружают, будут с молчаливой ненавистью смотреть мне в лицо и монотонно, на одной ноте мычать сквозь зубы. Мычать, не позволяя вырваться из этого круга, пока я не взорвусь и не закричу истошным голосом: «Ну что я вам сделал?! Дураки, уроды, сволочи, гады! Что вы ко мне пристали?!»

Этот крик заставлял их расступиться, потому что обвинить меня в поджоге или ураганном ветре они не смели — это было бы просто нелепо. Но при этом мои обидчики смутно чувствовали за мной какую-то вину, словно без меня тут не обошлось, как и при нашествии Батые или того же Наполеона. Я если и не явно, то тайно во всем замешан, и доказательство моей вины — французская фамилия. Поэтому круг снова смыкался, все набрасывались на меня, и начиналась драка. Я отчаянно отбрыкивался, обхватив руками голову, но, конечно же, из-за численного превосходства противника всегда оказывался униженным, посрамленным и побитым.

И, что самое поразительное, я чувствовал, что это справедливо, что так и должно быть, что нельзя позволить моей фамилии возобладать, возвыситься, восторжествовать над другими, будь я даже их сильнее и выносливее.

Словом, выросший в нашем городке, на нашей улице, где жила еще память не только о нашествии Наполеона, но и (благодаря постоянно включенному радио)

о троцкистах, бухаринцах, вейсманистах-морганистах, беспаспортных космополитах и прочих отщепенцах, я не мог не быть патриотом. И мой патриотизм — при такой сомнительной фамилии — причудливым образом выражался в самом жалком и отчаянном самоуничижении, готовности быть худшим из всех и покорно мириться со своей участью.

Не говорю уже о том, что даже учителя, вызывая меня к доске, произносили мою французскую фамилию на двойку, с неправильным ударением — не в конце, а в середине или даже начале. Я же, отличник и первый ученик в классе, от стыда их никогда не поправлял...

Когда же я повзрослел, стал замечать, что моя фамилия вызывает в людях странное чувство конфуза, неудобства, неловкости из-за ее несоответствия моему облику. Будь у меня во внешности хоть что-то французское, подчеркнуто мужское, импозантное — мопассановские усы, пышные бакенбарды, изысканная горбинка носа, чувственные ноздри, сладострастно изогнутые губы, это примирило бы всех с моей фамилией. Но, увы, внешность моя ничем не примечательна. Самая заурядная, простецкая внешность, и о мопассановских усах я могу только мечтать.

Жалкие усики и те едва пробиваются...

Словом, при моей-то фамилии, единственной в своем роде, я с виду обычный Иван Петрович, каких на Руси великое множество. И это несоответствие так же отталкивает, как у Толстого приснившийся героине мужик, работающий с железом и говорящий по-французски.

### ///

Мать у меня библиотекарь. Я привык видеть ее среди книжных лабиринтов, маленькую, седенькую,



похожую на белую мышь, в круглых очках (одно стеклышко залеплено полоской пластыря по трещине, чтобы не разломилось, и дужка обмотана ниткой) и лыжной шапочке с помпоном. Шапочку она носит постоянно, поскольку у нее мерзнет голова.

Отец, учитель словесности в здешней гимназии, чем-то на нее похож, такой же маленький, приземистый (словно бы одноэтажный), с седыми висками, но только без очков. Он рассказывает детям о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе и почему-то Вересаеве, хотя этот классик второго ряда не включен в школьную программу.

Не включен, но чем-то понравился, угодил моему отцу, и тот всегда выкраивает для него время. Так сказать, извлекает из второго ряда, спасает от забвения. Точно так же иногда достаешь с полки книгу, запрятанную за ряды других книг, заставленную ими, но она вдруг зачем-то понадобилась или просто возникла вздорная прихоть подержать ее в руках.

И вот тянешься, тянешься, не можешь дотянуться и тогда снимаешь первые ряды, лишь бы заполучить свою драгоценность, перелистать и вернуть на место.

В нашем городке, где всего одна гимназия и одна библиотека, мать и отца уважают и ценят. На улице с ними раскланиваются, спрашивают, не надо ли чего (наколоть дров, починить крышу после ураганного ветра). Поэтому оба они считают, что занимаются чем-то очень важным, и от этого преисполнены гордости и чувства собственного достоинства. Не выйдут из дома просто так, а всегда приоденутся, начистятся, словно первые франты в нашем медвежьем углу. И мне велят поступать так же, хотя в душе сожалеют, даже скорбят о моем неразумном жизненном выборе.

Увы, я не унаследовал, не двинулся по стопам, и мой выбор оказался совсем иным, словно что-то мне помешало стать библиотекарем или учителем словесности.

Я еще мальчишкой заметил, что мать охотно рассказывает о своих читателях, знакома почти с каждым из них, получает от них скромные подарки к праздникам (духи «Красная Москва»), подчас бывает в гости. Причем назидательно садится за стол лицом к накрытому вышитой салфеткой, украшенному вазой с цветами телевизору, а спиной к иконам. Их она считает признаком отсталости, дикости и суеверий. А как же иначе — служитель просвещения! Здешний библиотечкарь!

Для отца же ученики иногда дороже собственных детей, меня и моей сестры, давно покинувшей наш город. Но при этом они оба, столь любящие своих читателей и учеников, не любят... книги. Совершенно не любят и почти не читают (разве что отец при подготовке к урокам), хотя это кажется странным, парадоксальным и даже нелепым. Напротив, они досадуют, что книги занимают много места — не только в библиотеке, но и дома, что нужно покупать для них новый шкаф, заказывать грузчиков и машину, и обещают друг другу наконец расстаться хотя бы с собраниями сочинений, полученными когда-то по подписке.

Подписка доставалась не всем. И они подписывались, поскольку это считалось почетным — престижным, — как знак благополучия, достатка и некой приобщенности к высшим ценностям. Но со временем престиж выветрился (выдохся, как «Красная Москва»), а многотомные собрания остались. Чужие и ненужные, они занимают столь ценное жизненное пространство, где и так повернуться негде (между столом и буфетом приходится бочком протискиваться).

К тому же книги пылились, желтели, выгорали на солнце, вызывая постоянные жалобы и стоны: «Житья от них нет, от этих Тургеневых и Толстых!»

Мне горько слышать эти разговоры, поскольку они косвенно направлены против меня, ведь теперь в семье главный приобретатель книг — именно я.

Я долго бился над этой загадкой, почему же не любят, пока меня не осенило: а ведь, может быть, они и не виноваты, мои бедные родители. Или виноваты без всякой вины, поскольку большинство тогдашних книг — сборников повестей и рассказов — это видимость, мираж, пустая иллюзия. Целый штат редакторов, комментаторов и авторов предисловий, словно термиты или пиявчатые черви, кропотливо трудились над ними. Трудились, чтобы выкачать (высосать) из них всю живую кровь и вместо этого наполнить кровеносные сосуды дистиллированной водицей.

Толстой, видите ли, недопонял; Гоголь — недооценил; Чехову — не удалось; Бунин — не смог; Достоевский же тот и вовсе исказил и извратил... Об этом писалось в предисловиях, а им тогда верили больше, чем самим повестям и рассказам. Повести и рассказы без предисловий выглядели сомнительно: еще неизвестно, что из них вычитаешь и как поймешь. Поэтому лучше и не читать вовсе и тем самым уберечь от соблазнов свою нетронутую девственность и невинность.

Вот и получилось так, что роскошные обложки, тисненые корешки, красивые иллюстрации у них были, и издавали их огромными, сотысячными тиражами, а самих книг-то и не было. Фокус! Или были, но без обложек и не набранные в типографии, а отпечатанные на машинке тиражом четыре экземпляра — пятый совсем слепой.

Тоже фокус, но, правда, похуже. Он мог кому-то и не понравиться. И за него фокусника могли и привлечь, чтобы он совершенствовал свое умение где-нибудь на лесоповале и не с пишущей машинкой, а с ревущей бензопилой, на морозном воздухе, под непечатную ругань уголовной шпаны и острый запах бензина.

Впрочем, это место в моей истории можно и опустить. Опустить без особого сожаления, поскольку к французскому имени и моему злодейству оно не имеет равным счетом никакого отношения. Неровный

же счет... о неровном счете я здесь распространяться не уполномочен.

#### IV

В отличие от моих родителей книги я люблю страстно, суеверно и трепетно — больше всего в жизни. Аж весь захожусь, млею, изнываю, до того люблю. И опасаясь лишиться своей любви, я поклялся — дал зарок, что никогда не стану служителем просвещения, библиотекарем или учителем словесности. Хоть умру, но не стану. Поэтому мне оставалось одно: кроме гимназии и библиотеки в нашем городке был лишь мебельный заводик, и я стал столяром.

Но не просто столяром, а столяром-мечтателем, сочинителем и фантазером, что казалось мне чем-то сродни литературному ремеслу. Я брался за работу, только если мне грезилось причудливое кресло, словно прорастающее из лесных коряг, какое-нибудь фантастическое бюро под эпоху Людовика или шахматный столик, украшенный диковинной резьбой и инкрустированный слоновой костью (за ней я готов был сам отправиться в Африку).

Поэтому меня взяли в цех, где изготавливали особую мебель на заказ, под старину, с дорогой обивкой. Заказчики вместе с директором мне так и говорили: «Ну, Иван Петрович, сочини-ка ты нам...». И я в полном соответствии с их просьбой сочинял...

У меня был свой закуток, где я блаженствовал: гора душистых стружек на верстаке — желтовато-маслянистых, словно молочная пенка, свернувшихся причудливыми завитками. Здесь же — насаженные на длинные ручки молотки, наточенные стамески, короткие рубанки, длинные фуганки и множество банок с засохшим

клеем. Их я не выбрасывал, а хранил, словно выбросить что-то из моего закутка означало лишиться частицы блаженства.

Кроме того, мои банки — это вехи истории, реликты первобытного века. Археологам теперь не нужно будет закапываться с головой в траншеи, просеивать сквозь сито песок, обнаруженные черепки кисточкой очищать от пыли. Достаточно посетить мой закуток, и бесценные археологические находки сами поплывут им в руки.

Вот, к примеру, баночка из-под разноцветных леденцов монпансье, какие продавали когда-то (я мальчишкой раскладывал их горками по цветам и горстями отправлял в рот, после чего приходилось облизывать ладони, чтобы к ним не липло все подряд). Вот банка из-под мармелада «лимонные дольки», а вот — из-под появившегося когда-то противного, скверного по вкусу и запаху растворимого кофе: я даже помнил, сколько стоил этот кофе, недоношенный первенец подобного рода бодрящих напитков.

Итак, я строгал, пилил, травил морилкой, покрывал лаком, а все остальное время посвящал изучению французского языка (фамилия обязывала) и русской литературы. Часто, смахнув с верстака стружки и вытерев фартуком руки, усаживался, включал электрическую плитку для обогрева, доставал учебник или книгу (особо нужные книги мне выписывала по межбиблиотечному абонементу мать).

Конечно, я не дерзал братья за изучение Льва Толстого, не замахивался на Федора Достоевского. Я выбирал писателей сродни Викентию Вересаеву, но уж о них-то считал своим долгом знать все — вплоть до последних, фиговых мелочей, до того, как они фабрили усы и какие носили подтяжки.

С языком было сложнее: не очень-то он мне давался, этот коварный язык, в котором преобладают носовые (насморочные) звуки и стол — женского рода.

Наш-то обычный... на четырех ножках и — женского... Но я утешал себя тем, что когда-нибудь побываю во Франции и уж там-то нагоню, наверстаю. Правда, мне в это не слишком верилось, но мечтать-то не запретишь, и я мечтал.

## V

И вот времена разноцветных леденцов и лимонных долек прошли, в тумане что-то неясно забрезжило, и возникла робкая, пугливая надежда, что не такая уж это несбыточная мечта — побывать. Только и слышалось, что чем ближе к Москве (от нас до Москвы верст пятьсот), тем больше ездят, и не только герои-передовики, любимцы родины, но и те, кто попроще: дяди Васи и тети Клавы. И если в наш городок раньше забегали только шальные зайцы и голодные, облезлые лисицы с подпалинами под брюхом, то теперь стали забредать диковинные туры: хватай его за рога, садись верхом, и он мигом домчит тебя хоть до Парижа.

Вот и в наш цех забрел такой диковинный тур. Проездом Польша, Германия и — двенадцать дней во Франции. Надо было только решить — не келейно в кабинете начальства, а при честном народе, с соблюдением всех демократических процедур, — кого осчастливить (протравить морилкой и покрыть лаком). Народное вече собралось, пошумело, и все единогласно выбрали меня.

С моей-то французской фамилией как не выбрать. Я словно бы для того и родился, чтобы по Парижам ездить в международном вагоне (к самолетам не приучен). Только предупредили и добродушно напутствовали: смотри, а то еще останешься там, на своей

исторической родине (шутка)! Кто за тебя тогда будет заказные диваны и кресла сочинять?

Я все это слушал, радостно кивал, изображая себя ошастливленным, но в глубине души чувствовал, что и морилка слаба, и лак плохо ложится. Как-то расхотелось мне покидать мой закуток и расставаться с моим сочинительством. Расхотелось, наверное, потому, что мечтал-то я о запретном и несбыточном. Но лишь только оно стало дозволенным и разрешенным, как мечты мои причудливо испарились и на их месте выпала в осадок сладкая, кристаллическая (леденцовая) лень.

Хоть раскладывай ее по горкам и горстями отправляй в рот.

Кроме того, в отличие от людей, помешанных на всем французском, я, блаженный духом Иван, вынес из прочитанных книг неистребимую любовь ко всему родному, милому, проселочному, русскому. Она же, эта любовь, не нуждалась в перемене мест. Напротив, склоняла к запечному домоседству — к тому, чтобы родные, насиженные места или не покидать вовсе или покидать как можно реже, лишь по особой надобности, как при малой нужде (да простится мне сей прозаизм).

Однако на собрании я — хоть и блаженный, но с хитрецой, — в этом признаваться не стал. Не стал, поскольку нельзя демонстративно отказываться от того, что позволяет людям (собратьям по цеху) чувствовать себя твоими благодетелями. Я лишь робко надеялся на авось, на случай: что-нибудь мне да помешает. Возникнет непредвиденная помеха, найдется какая-нибудь заковыка (рубанок наткнется на сучок). И уж тогда я не упущу вожделенную возможность под самым благовидным предлогом отказаться от навязанных мне благодеей.

Так оно и вышло: случай долго маячил, искал в ком бы ему воплотиться. И наконец обрел зримый, телесный облик нашей уборщицы Марьи Филипповны Дровниковой по прозвищу Дровни. Это прозвище ей